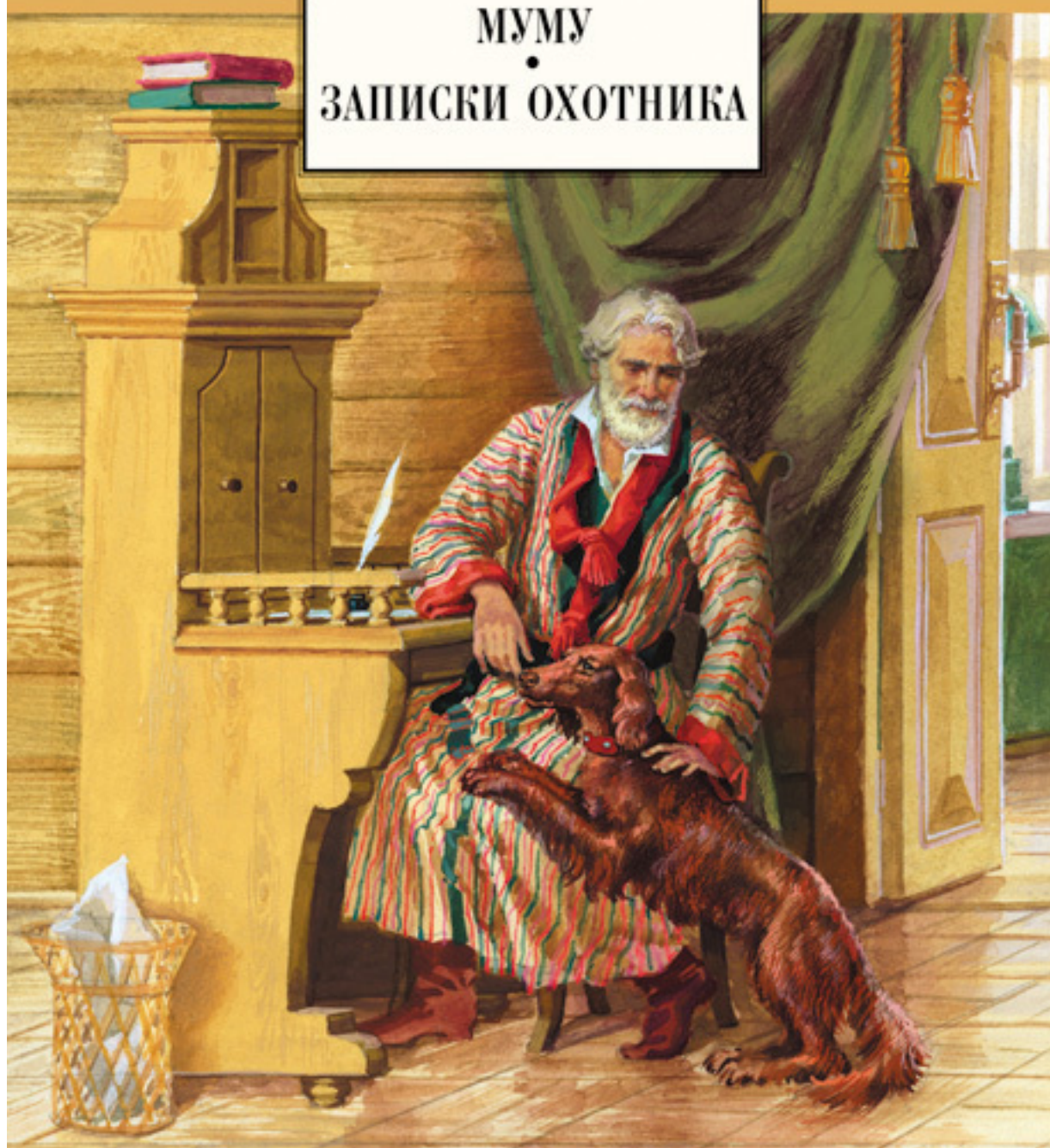


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



И. С. Тургенев
МУМУ
•
ЗАПИСКИ ОХОТНИКА



Школьная библиотека (Детская литература)

Иван Тургенев

**Муму. Записки
охотника (сборник)**

Издательство «Детская литература»

1852

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Тургенев И. С.

Муму. Записки охотника (сборник) / И. С. Тургенев —
Издательство «Детская литература», 1852 — (Школьная
библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-005084-8

В книгу вошли произведения замечательного русского писателя И. С. Тургенева: «Муму» и избранные рассказы из «Записок охотника». Для среднего школьного возраста.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-08-005084-8

© Тургенев И. С., 1852
© Издательство «Детская
литература», 1852

Содержание

Народ: поэзия и правда	6
Муму	11
Записки охотника	28
Хорь и Калиныч	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

И. С. Тургенев

Муму. Записки охотника (сборник)

© Сахаров В., вступительная статья, комментарии, 2000

© Милованов А., наследники, иллюстрации, 2000

© Издательство «Детская литература», 2002

* * *



И. С. Тургенев

1818–1883

Народ: поэзия и правда

Весну 1846 года молодой Иван Тургенев провел в орловском имении Спасское-Лутовиново и посетил своих соседок, сестер Александру и Наталью Беер. Девушки запомнили его восторженное отношение к «громадному таланту» поэта Н. А. Некрасова: «Когда он читал стихотворение Некрасова «Родина», от которого душа рвется и болит, дух замирает – и у него только голос прерывался». Близ родного дворянского гнезда Тургенев взволнованно декламировал всем ныне известные строки своего друга и издателя журнала «Современник»:

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне Божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть...

Молодой дворянин с детства знал все эти жестокие капризы, самодурство и просто-душное тиранство «барства дикого» (Пушкин), видел, как его властная и своевольная мать угнетает и унижает крепостных крестьян, дворовых и собственных детей. Чувства и мысли гневного некрасовского стихотворения Тургеневу были понятны и потому так волновали его. Но молодой богатый дворянин, учившийся в Петербургском и Берлинском университетах, долго живший в Италии и путешествовавший по Западной Европе, обладал мягкой, лирической натурой, чуждался туманящих разум ненависти, злобы и мести, обличений общественных пороков и разрыва со своей средой и ее высокой культурой.

Он заговорил о барстве, угнетении и унижении, крепостном праве, роковом расколе русского общества на господ и рабов совсем другим языком. Не озлобленный мститель и обиженный ненавистник своего класса, а впечатлительный поэт природы и народной жизни, равнодушный знаток и заступник угнетенного и униженного человека (причем это касалось не только крепостных, но и разночинцев и дворян), деревенский житель с детских лет, увлеченный охотник и путешественник по родной земле, хранитель семейных преданий и народных легенд и поверий, российский просвещенный дворянин и заботливый помещик – таков автор книги совершенно оригинальной и для русской литературы той поры неожиданной именно по причине своего мягкого, меланхоличного гуманизма и тончайшей поэтичности – «Записок охотника».

С 1847 года в журнале Некрасова «Современник» начинают появляться тургеневские рассказы, эту книгу составляющие. Сам автор называл ее «мои очерки о русском народе, самом странном и самом удивительном народе, какой только есть на свете». Сказано это любящим, достойным сыном своего народа. Иван Сергеевич Тургенев (1818–1883) прожил долгую и сложную жизнь в литературе, стал автором знаменитых романов, европейски известным писателем, из орловской деревни переселился в Париж, где и скончался. Но «Записки охотника» сразу определили его судьбу. Эту удивительную, нестареющую книгу он обдумывал десять лет, писал всю жизнь, в ней содержатся темы его зрелых сочинений. Недаром чуткий критик и прозаик Александр Дружинин в 1857 году писал о Тургеневе:

«...Наш автор только в «Записках охотника» достигнул высшей степени своего развития и остановился на ней и остается на ней долгое уже время». И появившиеся впоследствии тургеневские социальные романы не смогли заслонить высокую поэзию и щемящую худо-

жественную правду «Записок охотника». У книги была великая, отчетливо видимая автором цель. Она своей цели достигла, перешла в реальную жизнь, стала ее частью, стала на эту жизнь влиять, меняя ее, меняя нас.

Очевидно огромное социальное, общественное значение «Записок охотника», важная роль этой правдивой и смелой книги. Она всем, и в том числе императору, открыла вдруг глаза на невозможность и безнравственность дальнейшего сохранения крепостнического деспотизма в России. Автор показал, кого и как у нас каждый день угнетают, и все увидели живых, реальных людей, своих братьев в человечестве, возникло острое, мучительное чувство жалости и вины. Тургенев навсегда запомнил неожиданную встречу на маленькой железнодорожной станции: «Вдруг подходят ко мне двое молодых людей; по костюму и по манерам вроде мещан ли, мастеровых ли. «Позвольте узнать, – спрашивает один из них, – вы будете Иван Сергеевич Тургенев?» – «Я». – «Тот самый, что написал «Записки охотника»?» – «Тот самый...» Они оба сняли шапки и поклонились мне в пояс: «Кланяемся вам... в знак уважения и благодарности от лица русского народа».

Стоит задуматься, за что же мы вот уже 150 лет благодарим автора «Записок охотника». Великий русский поэт Федор Тютчев в ноябре 1849 года выслушал на вечере у князя В. Ф. Одоевского чтение актером М. С. Щепкиным тургеневского «Нахлебника» и заметил: «Это произведение отличается захватывающей и совершенно трагической правдой». То же можно сказать о рассказах «Записок охотника». Однако сам автор помнил, что он прежде всего поэт-художник, пусть и с безошибочным социальным чутьем, и говорил: «Правда – воздух, без которого дышать нельзя; но искусство – растение, иногда даже довольно причудливое – которое зреет и развивается в этом воздухе».

Его «искусство», его творчество глубоко правдиво и вместе с тем является подлинной поэзией, живущей по собственным законам и не подчиняющейся требованиям минуты, нуждам той или иной политической партии или класса. Русский читатель понял и с благодарностью принял эту художественную правду, хотя и увидел всю требовательность любви автора к своим героям. Не то было с так называемой «общественностью» (это о ней Тургенев сказал позднее: «Общество наше, легкое, немногочисленное, оторванное от почвы, закружилось, как перо, как пена»), с русской интеллигенцией, которая усматривала в «Записках охотника» то чисто социальный протест, то чистую поэзию, то славянофильскую проповедь консервативных воззрений. Все это можно при желании найти в очерках Тургенева, но книга его – произведение целостное и написана совсем о другом. Сам автор это знал и ответил своим критикам в письме 1857 года к Льву Толстому: «Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не дается, которые хотят ее за хвост поймать; система – точно хвост правды – но правда как ящерица; оставит хвост в руке – а сама убежит: она знает, что у ней в скором времени другой вырастет». Вся реальная правда «Записок охотника» для многих осталась закрытой и неподъемной. Между тем поэзия тургеневской лирической прозы не должна заслонять главной темы и художественной глубины этой уникальной книги о народной жизни.

Да, автор «Записок охотника» – поэт в прозе, тонкий, мечтательный лирик романтической школы Жуковского, певец русской природы. Но при появлении в журнале «Современник» некоторых его очерков критике и читателям сразу вспомнилось совсем другое имя – Гоголь, автор «Мертвых душ», поэмы в прозе. Конечно, это очень разные люди и художники. И все же... Гоголь ведь тоже был замечательным лириком в своей прозе, и особенно в знаменитых авторских отступлениях «Мертвых душ». Тургенев писал свои «охотничьи» очерки о русском народе в основном во Франции, книга Гоголя о путешествии Чичикова по России создана в Италии. Родина лучше видится на расстоянии, из «прекрасного далека»...

И композиция обоих произведений одинакова: очерки и типы русских людей скреплены воедино образом путешествующего по родной земле рассказчика, только у Тургенева

это не одержимый бесцельной деятельностью пройдоха Чичиков (в этом похожий на гончаровского Штольца из «Обломова»), а орловский помещик на охоте, пространство сужено до границ этой черноземной губернии и в основном включает знакомые места писателя, а авторское «я» выражено с замечательной лирической смелостью, что и делает тургеневскую прозу столь поэтичной. Но это очевидное сходство говорит и о понятном родстве главной идеи Гоголя и Тургенева, о том, что их цель, «сверхзадача» – дать новый образ России и ее народа, расколотого, угнетенного сверху донизу, не поступившись при этом реализмом и художественностью и соединив лирику с острой социальной сатирой.

«Записки охотника» – это книга о народе, его социологическое описание в характерных типах и жизненных ситуациях. И вся ее поэзия связана с русским крестьянством, представленным здесь в личностях очень разных, но одинаково самобытных и привлекательных. Каждое лицо здесь появляется продуманно и для читателя становится новым открытием, ведущим его к вполне определенным выводам и обобщениям.

Книгу открывает знаменитый рассказ «Хорь и Калиныч». Чем же он всех читателей потряс при первом своем появлении в журнале? Это портреты двух друзей: эпически спокойного, уверенного в себе, крепкого хозяина и хитрого торговца, главы большой семьи Хоря и веселого, кроткого мечтателя Калиныча. Это очень разные живые люди, умеющие мыслить и чувствовать. Сама дружба их трогательна, вплоть до букетика цветов, подаренных Калинычем Хорю. Потрясло всех тогда то, что крепостные в изображении Тургенева – такие же люди, как все. Особенно удивило то, что писатель сравнил Хоря с великим эпическим поэтом Гете, а Калиныча – с другим великим немецким поэтом, но лириком, Шиллером. Поэтом и философом изображен и божий странник Касьян с Красивой Мечи, знающий народные предания и легенды, вспоминающий о вещей птице Гамаюн, умеющий лечить травами и тонко чувствующий поэзию природы и ценность неповторимой жизни любого живого существа.

Именно жизнь простого крепостного люда проникнута подлинной поэзией, будь то мечтательно-лирическая натура обо всех болеющего душой деревенского чудака и святого (таких людей в народе называли юродивыми) Касьяна с Красивой Мечи или из древнерусского жития вышедшая, олицетворяющая народное спокойное долготерпение грешная и святая Лукерья из «Живых мощей». Поэзия есть и в самой смерти человека из народа, умирающего просто и достойно. В «Певцах» проникновенно говорится о Якове Турке и его замечательном даре песнопения: «Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны». О дворянах и чиновниках, населяющих «Записки охотника», этого не скажешь, хотя и не всех их автор обличает и разоблачает. «Бежин луг» – гениальное стихотворение в прозе о мечтающих о тайнах жизни крестьянских мальчиках, а о дворянах и их жизни таких поэтических страниц написать нельзя. Крестьяне же живут и умирают в единстве с великой прекрасной природой, которая делает русскую песню бескрайней и вольной, как степь и небо.

Однако еще Пушкин заметил, что русские песни часто полны неизъяснимой грусти, а друг Тургенева Некрасов назвал народное пение стоном. В «Записках охотника» звучит унылая песня. Народ порой не может остаться на высоте поэзии и правды, на вершинных нотах и захватывающем восторге своей песни. «Певцы» завершаются сценой тяжелого пьянства, где люди тут же забыли красоту и поэзию, ожившую в выразительном голосе Якова Турка. Кабак становится русским клубом, местом встречи и душевного отдыха заблудших и изверившихся «заброшенных людей», здесь царят тяжелое недоброжелательство, ложь, зависть, злоба, предательство, драка, воровство.

Долготерпение народное нередко переходит в пассивность, бездеятельность, чревато страшным повседневным развалом. Всей русской «общественности» с ее либеральными иллюзиями и дежурными фразами о демократии и правах человека Тургенев ответил в откровенном письме к старому другу Герцену: «Изо всех европейских народов именно рус-

ский менее всех других нуждается в свободе». Но ответ этот уже содержится в художественной мысли его книги о народе, где до Гончарова показана русская обломовщина во всех классах и сословиях.

И эти провидческие мысли «Записок охотника» обобщены потом в трагическом рассказе «Муму», где бессловесность и покорность могучего, талантливого и красивого народа вполне стоит мелочной и простодушной деспотии старой гадкой барыни. Жалко всех: собачку, Герасима, барыню. Этим пронзительным чувством жалости к заблудшему, несчастному человеку пронизаны «Записки охотника». И не стоит во всем винить крепостное право: люди сами виноваты в своем нравственном падении. Поэты природы и охоты оказываются пьяницами, ворами и бездельниками, спокойно сидящими на шее работающих, сердобольных русских баб вроде той же мельничихи. Потеряно чувство стыда. Крепостное рабство развратило народ, страх и ложь развели его могучую душу. Его угнетатели выходят из его же среды (см. рассказы «Бурмистр» и «Контора»).

Рассказ «Стучит!» – это повесть о преступлении, на которое так легко шли крестьяне. Здесь уже намечены темы прозы Достоевского. А в так и не дописанном рассказе «Землеед» Тургенев повествует и о русском бунте: крестьяне убили жестокого помещика, заставив его съесть семь фунтов черной земли, которую он у них незаконно отнял. Поэма о народе и русской природе переходит в скорбь и гнев зрячей сатиры, писатель и об этих людях умеет сказать реальную правду. Ведь говорил же он славянофилу Константину Аксакову (сатирически изображенному, кстати, в рассказе «Однودворец Овсянников») по поводу «Записок охотника»: «Я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму там, где Вы находите успокоение и прибежище эпоса».

Столь же страшный развал, упадок, ограниченность, духовное и материальное оскудение видны в изображениях дворян и чиновников. Да, в таких фигурах, каковы помещики Пеночкин, Стегунов и Зверков, крепостники показаны жестокими ничтожествами. Но и другие дворяне не лучше. Их портреты писаны сатирическим пером, и здесь, особенно в незавершенном рассказе «Русский немец и реформатор», Тургенев продолжает «Мертвые души» Гоголя и предвосхищает разоблачительную прозу М. Е. Салтыкова-Щедрина, его «Историю одного города».

Но на этом писатель не останавливается: не случайно органичной частью «Записок охотника» является рассказ «Гамлет Щигровского уезда», язвительная и правдивая сатира на нарождающуюся русскую интеллигенцию, достойное введение к роману «Рудин». Рассказ «Конец Чертопханова» написан много позднее, и это уже прозорливое предсказание трагической судьбы русского дворянства, с прискорбным простодушием пробавлявшегося балами, псовой охотой, лошадьми да цыганами и в решающий момент истории не сумевшего защитить себя, своих детей и великолепные дворцы и имения, богатейшую, могучую империю, великую культуру. И для исторического контраста и сравнения в книге Тургенева повествуется о роскошной жизни старого барства екатерининских времен («Малиновая вода»), о таких могучих, цельных личностях, как граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский («Однودворец Овсянников»). Все ушло, измельчали и обнищали дворяне, и само их крепостничество и самодурство – мелочное, неумное, угнетающее придиричливой, недалекой жестокостью, и недаром Хорь и бурмистр смеются над своими неумными, разоряющимися помещиками. Вдруг становится ясно, что все это долго не продлится, и такая пророческая мысль особенно потрясла дворян, прочитавших правдивую книгу об их крепостных рабах.

Да, «Записки охотника» Тургенева – книга непростая, ее надобно уметь читать правильно и без купюр, всю насквозь, пользуясь реальным комментарием и безотказным словарем В. Даля. Здесь нет ничего лишнего или неудачного, все служит авторскому замыслу, главной цели. И нужно знать русскую историю, язык и предания, высокохудожественной страницей которых это многосложное сочинение является. Но все сказанное вовсе не отме-

няет того очевидного обстоятельства, что тургеневская книга полна поэзии и правды русской природы и народной жизни. Все здесь объемно, зримо, полно красками, звуками, запахами. Французский писатель Альфонс Доде оценил богатство лирической прозы своего русского друга: «У большинства писателей есть только глаз, и он ограничивается тем, что живописует. Тургенев наделен и обонянием и слухом. Двери между его чувствами открыты. Он воспринимает деревенские запахи, глубину неба, журчание вод и без предвзятости сторонника того или иного литературного направления отдается многообразной музыке своих ощущений».

Автор этой великой книги о русском народе лучше нас понимал ее социальный смысл и звучание, ее историческое значение: «Бывают эпохи, где литература не может быть *только* искусством – а есть интересы высшие поэтических интересов». И все же его «Записки охотника» и поныне остаются одной из самых светлых, поэтичных, художественных книг русской литературы. И произошло это потому, что героем книги стал не только русский народ, но и русский язык, о котором автор «Записок охотника» сказал пророчески:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! – Не будь тебя – как не впасть в отчаяние, при виде всего, что совершается дома? – Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Всеволод Сахаров, доктор филологических наук

Муму



В одной из отдаленных улиц Москвы в сером доме с белыми колоннами, антресолю¹ и покрывившимся балконом жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом, и, как рычаг, опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж... Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле... Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое делается, – сучал и недоумевал, как недоумевает молодой

¹ Антресоль – в большом барском доме верхний полуэтаж с низкими потолками, где размещались комнаты детей и прислуги.

здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги, – и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат – Бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них разрешения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного: вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом – и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не веди, все в околотке очень стали уважать его; даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских – они его побаивались, – а коротких; он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолье. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться, а то беда – увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку: он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах – истинно богатырскую кровать: сто пудов можно было положить на нее – не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную: в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-нибудь захолустье, и если пил, как он сам выражался, с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскивали где-то на улице.

– А что, Гаврила, – заговорила вдруг она, – не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

– Отчего же не женить-с! можно-с, – ответил Гаврила, – и очень даже будет хорошо-с.

– Да; только кто ж за него пойдет?

– Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.

– Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.

– Да!.. пусть посватает Татьяну, – решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, – слышишь?

– Слушаю-с, – произнес Гаврила и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило.

Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился... Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно только тонкое белье), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой – предвещанием несчастной жизни... Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле: работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали ее плохо; жалованье она получала самое маленькое; родни у нее все равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей да другие дядья у ней в мужиках состояли, вот и все. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного; к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других – боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему: кротким ли выражением лица, робостью ли движений – Бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту... кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил, да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись.

Однажды за обедом кастелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бедная, не знала, куда глаза деть, и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт, леший!» – пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась, несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала, как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

Читатель теперь легко сам поймет причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, – думал он, посиживая у окна, – конечно, жалуется Герасиму (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), все же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и, наконец, оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости, Господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он все в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, черта эдакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь... право!..»

Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам потребно?»

Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. «Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?»

– Хорош, – проговорил Гаврила и помолчал. – Хорош, нечего сказать!

Капитон только плечиками передернул. «А ты небось лучше?» – подумал он про себя.

– Ну посмотри на себя, ну посмотри, – продолжал с укоризной Гаврила. – Ну на кого ты похож?

Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием посмотрел на свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.

– А что-с?

– Что-с? – повторил Гаврила. – Что-с? Еще ты говоришь: что-с? На черта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож!

Капитон проворно замигал глазками.

«Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Андреич», – подумал он про себя.

– Ведь вот ты опять пьян был, – начал Гаврила, – ведь опять? А? Ну, отвечай же.

– По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно, – возразил Капитон.

– По слабости здоровья? Мало тебя наказывают – вот что; а в Питере еще был в ученье... Многому ты выучился в ученье. Только хлеб даром ешь.

– В этом случае, Гаврила Андреич, один мне судья: сам Господь Бог – и больше никого. Тот один знает, каков я человек на сем свете суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства – то и в этом случае виноват не я, а более один товарищ: сам же меня он сманул, да и сполитиковал, ушел то есть, а я...

– А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубенный человек! Ну, да дело не в том, – продолжал дворецкий, – а вот что. Барыне... – тут он помолчал, – барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Они полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь?

– Как не понимать-с.

– Ну да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж? ты согласен?

Капитон осклабился:

– Женильба – дело хорошее для человека, Гаврила Андреич; и я, с своей стороны, с очень моим приятным удовольствием.

– Ну да, – возразил Гаврила и подумал про себя: «Нечего сказать, аккуратно говорит человек». – Только вот что, – продолжал он вслух, – невесту-то тебе приискали неладную.

– А какую, позвольте полюбопытствовать?..

– Татьяну.

– Татьяну?

И Капитон вытаращил глаза и отделился от стены.

– Ну, чего ж ты всполохнулся?.. Разве она тебе не по нраву?

– Какое не по нраву, Гаврила Андреич! девка она ничего, работница, смирная девка... Да ведь вы сами знаете, Гаврила Андреич, ведь тот-то, леший, кикимора-то степная, ведь он за ней...

– Знаю, брат, все знаю, – с досадой прервал его дворецкий, – да ведь...

– Да помилуйте, Гаврила Андреич! ведь он меня убьет, ей-богу, убьет, как муху какую-нибудь прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы извольте сами посмотреть, что у него за рука; ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глухой, бьет и не слышит, как бьет!словно во сне кулачищами-то махает. И унять его нет никакой возможности; почему? потому, вы сами знаете, Гаврила Андреич, он глух и, вдобавку, глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврила Андреич, – хуже идола... осина какая-то; за что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уж теперь все нипочем: обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок, – все же я, однако, человек, а не какой-нибудь, в самом деле, ничтожный горшок.

– Знаю, знаю, не расписывай...

– Господи Боже мой! – с жаром продолжал башмачник, – когда же конец? когда, Господи! Горемыка я, горемыка неисходная! Судьба-то, судьба-то моя, подумаешь! В малых летах был я бит через немца-хозяина, в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, наконец в зрелые годы вот до чего дослужился...

– Эх ты, мочальная душа! – проговорил Гаврила. – Чего распространяешься, право!

– Как чего, Гаврила Андреич! Не побоев я боюсь, Гаврила Андреич. Накажи меня господин в стенах да подай мне при людях приветствие, и все я в числе человеков, а тут ведь от кого приходится...

– Ну, пошел вон, – нетерпеливо перебил его Гаврила.

Капитон отвернулся и поплелся вон.

– А положим, его бы не было, – крикнул ему вслед дворецкий, – ты-то сам согласен?

– Изъявляю, – возразил Капитон и удалился.

Красноречие не покидало его даже в крайних случаях.

Дворецкий несколько раз прошелся по комнате.

– Ну, позовите теперь Татьяну, – промолвил он наконец.

Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога.

– Что прикажете, Гаврила Андреич? – проговорила она тихим голосом.

Дворецкий пристально посмотрел на нее.

– Ну, – промолвил он, – Танюша, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха сыскала.

– Слушаю, Гаврила Андреич. А кого они мне в женихи назначают? – прибавила она с нерешительностью.

– Капитона, башмачника.

– Слушаю-с.

– Он легкомысленный человек, это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется.

– Слушаю-с.

– Одна беда... ведь этот глухарь-то, Гераська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь этакой...

– Убьет, Гаврила Андреич, бесприменно убьет.

– Убьет... Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь: убьет. Разве он имеет право тебя убивать, посуди сама.

– А не знаю, Гаврила Андреич, имеет ли, нет ли.

– Экая! ведь ты ему этак ничего не обещала...

– Чего изволите-с?

Дворецкий помолчал и подумал: «Безответная ты душа!»

– Ну хорошо, – прибавил он, – мы еще поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюша; я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолоку и ушла.

«А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе, – подумал дворецкий, – я-то из чего растревожился? Озорника-то этого мы скрутим; коли что, в полицию знать дадим...»

– Устинья Федоровна, – крикнул он громким голосом своей жене, – наставьте-ка самоварчик, моя почтенная...

Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утерла слезы и принялась по-прежнему за работу...

Между тем ожидания дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньенок, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и, как ночной извозчик, спала днем. Когда Гаврила вошел к ней после чаю с докладом, первым ее вопросом было: а что наша свадьба, идет? Он, разумеется, отвечал, что идет как нельзя лучше и что Капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то нездоровилось: она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело, точно, требовало особенного обсуждения. Татьяна не прекословила, конечно, но Капитон объявлял во всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три... Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся (в числе их присутствовал старый буфетчик, по прозвищу дядя Хвост, к которому все с почтением обращались за советом, хотя только и слышали от него, что: вот оно как, да: да, да, да) начали с того, что на всякий случай для безопасности заперли Капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе; но Боже сохрани! выйдет шум, барыня обеспокоится – беда! Как быть? Думали, думали и выдумали наконец. Неоднократно было заме-

чено, что Герасим терпеть не мог пьяниц. Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагруженный человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили; притом сама она видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика; дело все-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю... Из-за всех углов, из-под штор за окнами глядели на него...

Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва, по обыкновению, с ласковым мычанием закивал головой; потом взгляделся, уронил лопату, вскочил, подошел к ней, придвинул свое лицо к самому ее лицу... Она от страха еще больше зашаталась и закрыла глаза... Он схватил ее за руку, помчал через весь двор и, войдя с нею в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к Капитону. Татьяна так и обмерла... Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая, в свою каморку. Целые сутки не выходил он оттуда. Форейтор Антипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, будто Герасим, сидя на кровати и приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча, пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошел от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нем особенной перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее и на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чем; только с реки он приехал без воды: он как-то на дороге разбил бочку; а на ночь в конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками.

Все это происходило весною. Прошел еще год, в течение которого Капитон окончательно спился с кругом и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе с своею женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют да вальки на небо кладут, он все не пропадет, но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог, какая-то сострадательная душа надвинула ее ему на лоб, поправила козырек и сверху ее прихлопнула. Когда же все было готово и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слова: «С Богом!», Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для нее же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг остановился на Крымском Броду, махнул рукой и отправился вдоль реки.

Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разостлав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три, глаза у ней прорезались недавно; один глаз даже казался немножко больше другого; она еще не умела пить из чашки и только дро-

жала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясаясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел да как засмеется вдруг... Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул наконец сам возле нее каким-то радостным и тихим сном.

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал – немые знают, что мычание их обращает на себя внимание других, – он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти... и ему было неприятно, когда другие ее гладили: боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней – Бог весть! Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери. И она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звезды, и обыкновенно три раза сряду, – нет! тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром: либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох... Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще, кроме ее, на дворе старый пес, желтого цвета, с бурыми крапинами, по имени Волчок, но того никогда, даже ночью, не спускали с цепи, да и он сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свободы – лежал себе, свернувшись, в своей конуре и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила и, когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, наострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево при малейшем стуке за дверями...

Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство... а именно: в один прекрасный летний день барыня со своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-вторых, эти вспышки у нее продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала; на картах ей вышло четыре валета: исполнение желаний (она всегда гадала по утрам), – и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. С сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе, под розовым кусточком, лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидела ее.

– Боже мой! – воскликнула она вдруг, – что это за собака?

Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника.

– Н... н...е знаю-с, – пробормотала она, – кажется, немного...

– Боже мой! – прервала ее барыня, – да она премиленькая собачка! Велите ее привести. Давно она у него? Как же я это ее не видала до сих пор?.. Велите ее привести.

Приживалка тотчас порхнула в переднюю.

– Человек, человек! – закричала она. – Приведите поскорее Муму! Она в палисаднике.

– А, ее Муму зовут, – промолвила барыня, – очень хорошее имя.

– Ах, очень-с, – возразила приживалка. – Скорей, Степан!

Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевертывая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить ее у самых ног ее хозяина; но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню; наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене.

– Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне, – говорила госпожа, – подойди, глупенькая... не бойся...

– Подойди, подойди, Муму, к барыне, – твердили приживалки, – подойди.

Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места.

– Принесите ей чего-нибудь поесть, – сказала барыня. – Какая она глупая! к барыне нейдет. Чего боится?

– Они не привыкли еще, – произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок.

Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока и все дрожала и озиралась по-прежнему.

– Ах, какая же ты! – промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку...

Произошло мгновенное молчание. Муму слабо визгнула, как бы жалуясь и извиняясь... Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало.

– Ах! – закричали разом все приживалки, – не укусила ли она вас, сохрани Бог! (Муму в жизнь свою никого никогда не укусила.) Ах, ах!

– Отнеси ее вон, – проговорила изменившимся голосом старуха. – Скверная собачонка! Какая она злая!

И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила: «Зачем это? ведь я вас не зову», – и ушла.

Приживалки отчаянно замахали руками на Степана; тот подхватил Муму и выбросил ее поскорей за дверь, прямо к ногам Герасима, – а через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина и старая барыня сидела на своем диване мрачнее грозовой тучи.



Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека!

До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила кастеляншу все белье перенюхать, – словом, волновалась и «горячилась» очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного.

– Скажи, пожалуйста, – начала она, как только тот, не без некоторого внутреннего трепетания, переступил порог ее кабинета, – что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? Мне спать не дала!

– Собака-с... какая-с... может быть, немного собака-с, – произнес он не совсем твердым голосом.

– Не знаю, немного ли, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак! Желаю знать. Ведь есть у нас дворная собака?

– Как же-с, есть-с. Волчок-с.

– Ну, чего еще, на что нам еще собака? Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме – вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собак у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызет – а у меня там розы посажены...

Барыня помолчала.

– Чтoб ее сегодня же здесь не было... Слышишь?

– Слушаю-с.

– Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я потом позову.

Гаврила вышел.

Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на конике спал Степан, в положении убитого воина на батальной картине, судорожно вытянув обнаженные ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полузевком, полухохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. (Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом.) Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом с своей ношей, а Муму, по обыкновению, осталась его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в Охотный ряд. Там он скоро отыскал покупателя, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он по крайней мере неделю продержал ее на привязи, и тотчас вернулся; но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка, через забор перескочил на двор: в калитку-то он побоялся идти – как бы не встретить Герасима.

Впрочем, его беспокойство было напрасно: Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас хватился Муму; он еще не помнил, чтоб она когда-нибудь не дождалась его возвращения, стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему... бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу – туда-сюда... Пропала! Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол-аршина от земли, рисовал ее руками... Иные, точно, не знали, куда девалась Муму, и только головами качали, другие знали и посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой.

Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его можно было предполагать, что он успел обежать пол-Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промычал еще раз: «Муму!» – Муму не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова... а любопытный форейтор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что немой-де всю ночь охал.

Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврила отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки и принялся за работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго, вернулся и тотчас отправился на сеновал.

Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу; он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился, но вот опять его дернули, сильнее прежнего; он вскопчил... перед ним, с обрывком на шее, вертелась Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди; он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях; она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду... Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее, должно быть, свели по приказанию барыни: люди-то ему объяснили знаками, как его Муму на нее окрысилась, – и он решил принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал ее, уложил, потом начал соображать, да всю ночь напролет и соображал, как бы лучше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым армяком и чуть свет был уже на дворе как ни в чем не бывало, сохраняя даже (невинная хитрость!) прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом своим выдаст: действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого воротилась и сидит у него взаперти, но из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страха перед ним не давали ему понять, что проводили его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке да махнул рукой: «Ну, мол, Бог с ним! Авось до барыни не дойдет!» Зато никогда немой так не усердствовал, как в тот день: вычистил и выскреб весь двор, выполол все травки до единой, собственноручно повыдергал все колышки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил, – словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его радение. В течение дня Герасим раза два украдкой заходил к своей затворнице; когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором, со стороны переулка, раздался шорох. Муму наострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного «нервического волнения»: эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай ее разбудил; сердце у ней забилося и замерло.

– Девки, девки! – простонала она. – Девки!

Перепуганные девки вскочили к ней в спальню.

– Ох, ох, умираю! – проговорила она, тоскливо разводя руками. – Опять, опять эта собака!.. Ох, пошлите за доктором. Они меня убить хотят... Собака, опять собака! Ох! – И она закинула голову назад, что должно было означать обморок.

Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно брать за пульс, спал четырнадцать часов в сутки, а остальное время все вздыхал да беспрестанно потчевал барыню лавровишневыми каплями, — этот лекарь тотчас прибежал, покурив жжеными перьями и, когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее, бедную старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора.

— Вот... вот... опять, — пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб.

Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча велел поднять весь дом.

Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломались в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же ее в живых не будет, и чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь второпях вместо двенадцати капель налил целых сорок; сила лавровишенья и подействовала — через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно; а Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму.

На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку.

— Любовь Любимовна, — начала она тихим и слабым голосом; она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдальцей; нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко, — Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение; подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговорите с ним: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить, — прибавила она с выражением глубокого чувства, — подите, душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор; но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима: впереди выступал Гаврила, придерживая рукой картуз, хотя ветру не было; около него шли лакеи и повара; из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так руками разводил; позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик; у двери стояло два других, с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврила подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул:

— Отвори.

Послышался слабый лай; но ответа не было.

— Говорят, отвори! — повторил он.

— Да, Гаврила Андреич, — заметил снизу Степан, — ведь он глухой — не слышит. Все засмеялись.

— Как же быть? — возразил сверху Гаврила.

— А у него там дыра в двери, — отвечал Степан, — так вы палкой-то пошевелите.

Гаврила нагнулся.

– Он ее армяком каким-то заткнул, дыру-то.

– А вы армяк пропихните внутрь.

Тут опять раздался глухой лай.

– Вишь, вишь, сама сказывается, – заметили в толпе и опять рассмеялись.

Гаврила почесал у себя за ухом.

– Нет, брат, – продолжал он наконец, – армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь.

– А что ж, извольте!

И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстие палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась – вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы. Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно.

– Ну, ну, ну, ну, – кричал Гаврила со двора, – смотри у меня, смотри!

Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока; в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед.

– Смотри, брат, – промолвил он, – у меня не озорничай.

И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки; подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет.

Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.

– Да, да, – возразил тот, кивая головой, – да, непременно.

Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму.

– Да ты обманешь, – замахал ему в ответ Гаврила.

Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь.

Все молча переглянулись.

– Что ж это такое значит? – начал Гаврила. – Он заперся?

– Оставьте его, Гаврила Андреич, – промолвил Степан, – он сделает, коли обещал. Уж он такой... Уж коли он обещает, это верное. Он на это не то что наш брат. Что правда, то правда. Да.

– Да, – повторили все и тряхнули головами. – Это так. Да.

Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «Да».

– Ну, пожалуй, посмотрим, – возразил Гаврила. – А караул все-таки не снимать. Эй ты, Ерошка! – прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку в желтом нанковом казакине, который считался садовником. – Что тебе делать? Возьми палку да и сиди тут, и чуть чт о, тотчас ко мне беги!

Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что все исполнено, а сам на всякий случай послал форейтора к хожалому. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потеряла себе виски, накушалась чаю и, будучи еще под влиянием лавровишневых капель, заснула опять.

Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась и показался Герасим.

На нем был праздничный кафтан; он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся; шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку, в качестве наблюдателя. Ерошка увидел издали, что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода.

В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе шей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась; видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму шей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее; две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз: одна упала на крутой лобик собачки, другая – во щи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.

Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому Броду. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристроивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского Брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам (он уже заметил их прежде), и вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головою и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался сажень на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромя, в шалаш.

А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась позади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке – дно было залито водой, – и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем как лодку волной помаленьку относил назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее... Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки...

Герасим ничего не слышал – ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и, когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги.

Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел.

– Ну да, – заметил Степан, – он ее утопит. Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал...

В течение дня никто не видал Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину все, кроме его.

– Экой чудной этот Герасим! – пропищала толстая прачка. – Можно ли эдак из-за собаки проклажаться! Право!..

– Да Герасим был здесь! – воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши.

– Как? Когда?

– Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; он уж опять отсюда шел, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну и толкнул меня; должно быть, он так только отсторонить меня хотел: дескать, не приставай, – да такого необыкновенного леща мне в станковую жилу поднес, важно так, что ой-ой-ой! – И Степан с невольной усмешкой пожался и потер себе затылок. – Да, – прибавил он, – рука у него, благодатная рука, нечего сказать.

Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.

А между тем в ту самую пору по Т...у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях... Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезающего дня, – с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, взапуски перекликались коростели... Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги; но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, – ветер с родины, – ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собою белеющую дорогу – дорогу домой, прямую, как стрела; видел в небе несчетные звезды, светившие его путь, и, как лев, выступал сильно и бодро, так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже тридцать пять верст... Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было удивился; но сенокос только что начинался: Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки, – и пошел косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы...

А в Москве, на другой день после побега Герасима, хватились его. Пошли в его каморку, обшарили ее, сказали Гавриле. Тот пришел, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе с своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и наконец такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!» – пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!» Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась; сперва было отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла; а наследникам ее было не до Герасима: они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку.

И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему и работает за четырех по-прежнему и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он ни одной собаки у себя не держит. «Впрочем, – толкуют мужики, – на что ему собака! к нему на двор вора оселом не затащишь!» Такова ходит молва о богатырской силе немого.



Записки охотника

Хорь и Калиныч



Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханых полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих раkit, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадь² исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.

² «Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов: орловское наречие отличается вообще множеством своебытных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных, слов и оборотов.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полуты кина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть *Пинну*; заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо *однако* говорил *одначе* и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба – грибами, макароны – порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

– До меня верст пять будет, – прибавил он, – пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

– А кто такой Хорь?

– А мой мужик... Он отсюда близехонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

– А, Федя! Дома Хорь? – спросил его г-н Полутыкин.

– Нет, Хорь в город уехал, – отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. – Тележку заложить прикажете?

– Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» – заметил Полутыкин. «Всё Хорьки, – подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, – да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася, – продолжал он, обращаясь к кучеру, – духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское чрево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» – торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбающуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, – сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, – хотите зайти?» – «Извольте». – «Она теперь упразднена, – заметил он, слезая, – а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, – проговорил г-н Полутыкин, – а где же вода?»

Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, – сказал мне Полутыкин, – это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик кланялся нам в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, – заметил мой новый приятель. – В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

– Скажите, пожалуйста, – спросил я Полутыкина за ужином, – отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?

– А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. «Да зачем тебе селиться на болоте?» – «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». – «Пятьдесят рублей в год!» – «Извольте». – «Да без недоимок у меня, смотри!» – «Известно, без недоимок...» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

– Ну, и разбогател? – спросил я.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.